

В. Ф.
ОДОЕВСКИЙ

Избранное



Владимир Федорович Одоевский

НОВЫЙ ГОД

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=645615
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

"Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал! Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и не нахожу в них только одного: самого себя..."

Содержание

Действие I	5
Действие II	14
Действие III	18

Владимир Федорович Одоевский Новый год

(Из записок ленивца)

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» – сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал! Я чувствовался страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу; увидим, ошибся ли я в своем расчете; вот несколько дней немоей жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

Действие I

– Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

– Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года... – отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

– Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

– Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, заметил записной насмешник.

– Неправда, они очень верны, – возразил Вячеслав с досадою, – я их каждый день поверяю по городским...

– Сколько ему гордости придают его часы! – продолжал насмешник. – Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

– Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

– Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет сегодня двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двена-

дцать – все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щедрее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать; например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из ренского погреба¹; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатую холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покровок ковер, отчего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. – Так было и сегодня. За ме-

¹ *Ренский погреб* – магазин, торгующий виноградными винами; ренское – всемирно известное вино, выделяемое из винограда, выращиваемого на среднем течении Рейна.

сяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет, по крайней мере, три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к 12-ти часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных саженьях, я теперь уж не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! – Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп – для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову². Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании; но едва деревянные часы подребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из

² Лукулл Луций Лициний (ок. 117 – ок. 56 до н. э.) – римский полководец, богатый человек, оставил по себе память как устроитель отличавшихся необычайной роскошью пиров. *Череп* – символ бренности земной жизни.

школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась пред нами – простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и – сколько благородства! Счастливое время!

Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати – наслаждение, в первый раз неизъяснимое!

Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством; но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности; литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигры-

вали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или, по крайней мере, в гостиной; в самом же деле мы были в райке:

вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на северягу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, – а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя.

Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей, и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву, – такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения – и им уже не подняться! Но тогда, – тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою

грубостию; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела – и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. – В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа пред Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни. – Сколько прекрасных надежд!

Сколько планов, перемешанных с тонкими, аттическими эпиграммами³ против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нам преважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом – и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной; все отрасли деятельности были разобраны: кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его

³ *Аттические эпиграммы* – особенно тонкие и остроумные эпиграммы; происходит от названия древнегреческого государства Аттика, славившегося своей богатой и тонкой культурой.

истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни – *развивать идею поэзии*; долго потом, встречаясь, мы, вместо обыкновенного «здравствуй», приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый, радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу собраться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих-судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, – но мы, в честь старой студенческой жизни, сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть – не окончены, остальные переименованы на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльбору-

са, кто с холмов древнего Рима.

Действие II

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава – нет его; он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запущенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:

– Он только что стал засыпать, – сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостию для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней на-

шей жизни – студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

– Это мой старый товарищ, – говорил он, знакомя с своею женою, сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умершие менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманых обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не разбудить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполнину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь

предлог посмотреть друг на друга.

– Мое время прошло, – сказал наконец Вячеслав. – Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем, – прибавил Вячеслав, указывая на колыбель, – здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник.

Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш и потом – увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило проведение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; в этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок.

Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

Действие III

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был, в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеслава крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

– Барин сейчас едет, барыня уж уехала, – наконец проговорил он.

– Какой вздор! быть не может.

– Карета уже подана, барин одевается...

– Быть не может.

– Позвольте об вас доложить...

– Я хожу без доклада.

– Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось;

в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

– Ах, братец! – говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру, – Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

– Я сейчас только из дорожной кареты.

– Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

– Ты едешь – а я тебе не мешаю...

– Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, пове-ришь мне, что невозможно...

– Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

– Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию ви-ста... перчатки... он человек, от которого многое зави-сит, – нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встре-тить Новый год по старине, вспомнить былое... шля-пу...

– Сделай милость, без церемоний...

Тут вошел сын его с гувернером:

– Adieu, papa.

– А, ты уже возвратился? весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою. – Ах, боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы жили! – Карету, карету!..

Вячеслав побежал опрометью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты, – они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы *гососо*, на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцеровской воды, в гостинице для проезжающих.